

бранного ею человека, становящегося джентльменом, оттого что его любит леди; дело личных чувств; посторонним нечего вмешиваться; всем советуем руководиться в делах любви — любовью. И все.

Но откуда же, повторяю, грусть? От страшного, безнадежного чувства одиночества. От странного и ненормального соотношения между отдельным человеком и обществом, где собраны люди. От удивительного вывода о счастье, как о «приватном» деле. От страшной внутренней изоляции человека и семьи, супружеских пар, — словно каких-то одиноких островков, — в необъятном океане огороженного от них человечества. От защиты, единственной защиты Твемло!

Вот в этой области наша советская литература может дать англо-американскому читателю образец совершенно нового оптимизма. У нас есть книги, кончающиеся во всех отношениях неблагоприятно: герои не женятся, положительные герои умирают, зло остается ненаказанным, добродетель не награждена. А все-таки, закрывая книгу, чувствуешь удивительный прилив любви к жизни, веры в жизнь, силы жить. Почему? Потому что здесь общество и индивидуум не разделены никакой стеной, человек живет в обществе; человек в советской литературе не пасынок истории, а ее творец; «голос общества» для него не голос со стороны; он сам этот голос. Каждая личная коллизия по-новому дает ему почувствовать общественный смысл индивидуального бытия.

Английский и американский читатель высоко оценил «Тихий Дон» Шолохова за его «объективность». Да, это книга большой, эпической объективности. И посмотрите, разберитесь в ней, какая могучая мысль несет все четыре ее тома! Роман

тоже, как будто, кончается счастливо: главный герой, Григорий, пройдя через всякие скитания и передраги, охваченный тягой к семье, возвращается на родину, видит сына. А между тем Шолохов сделал эту счастливую концовку человеческой трагедией. Он привел к сыну опустошенного, конченного человека. Почему? Потому что Григорий потерял свою связь с обществом. Григорий перестал творить историю. Он не нашел себя в ней. Он изолировался от народа, сошел с дороги, остался один. И таким, ненужным ни себе, ни семье, он добрал до родной хаты, — чтоб умереть, а не жить.

Большая идея, ясное сознание общественного, исторического бытия людей лежат в основе нашей советской культуры и проходят через всю советскую литературу; нет одинокого человека, индивидуум связан с обществом, задача его — творить историю, работать, бороться вместе со своим народом, неотрывно от него; одиночество, отрыв — это несчастье и смерть. Вот эта идея и питает наш оптимизм, она и реализуется сейчас в действии, в поголовном участии советских людей в обороне своего отечества. Нашим английским и американским читателям она может служить ключом к тем произведениям советской литературы, с которыми они будут знакомиться. И для нас эта идея, в свою очередь, служит критерием наших художественных оценок. Огромный успех книги Стейнбека «Гроздь гнева», превосходно переведенной у нас, и массовое издание этой книги объясняются именно наличием в ней высокого общественного оптимизма, а не только совершенством ее литературной формы. Такие книги служат грядущим читательским поколениям. Творческие встречи с ними глубоко плодотворны и для советской литературы.

К. ЧУКОВСКИЙ

Как я полюбил англо-американскую литературу

Я был сумбурный и нескладный подросток. Мне было шестнадцать лет. За четвертак я случайно купил на толкучке английский самоучитель — растрепанную книгу без конца, без начала — и стал молотом на крыше (бумаги не было!) выписывать idiotские фразы:

«Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволлов?»

«Любит ли этот застенчивый юноша внучку своей маленькой дочери?»

Около пяти месяцев провел я за этим плодотворным занятием и, наконец, к великой своей радости, обнаружил, что я — правда, с грехом пополам — уже умею читать по-английски!

Это было для меня праздником праздников.

Знакомый еврей-переплетчик подарил мне книжку «The Poetical Works of Edgar

Poe». Я раскрыл книжку и прочел с восхищением: *Once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary...* и т. д.

Мне было понятно далеко не каждое слово, но благодаря этому, еще больше усилилось то очарование таинственности, которого добивался великий поэт. И хотя я произносил английские слова на свой лад (самым фантастическим образом!), все же эти стихи показались мне какой-то сферической музыкой, и я сразу же выучил их наизусть и декламировал на раскаленных крышах веселого южного города (так как в то время я был маляром и проводил на крышах большую часть своей жизни).

Если бы тогда мою декламацию чудом услышал какой-нибудь прохожий англичанин, он, конечно, не догадался бы, что он слышит английскую речь. Особенно свел меня с ума *Ulalume* того же Эдгара По, и

я повторял эту поэму тысячу раз, как факр. Причем меня прельщало не столько содержание поэмы, сколько ее вкрадчивая изощренная музыка. Потом наступила пора Алджернона Чарлза Свинберна. Сейчас я довольно равнодушен к его виртуозной фонетике, но тогда «Гимн Прозерпине» (Hymn to Proserpine), «Ave atque Vale», «Герта» (Hertha) заставляли меня дрожать от восторга.

А потом пришла зима, и малярные работы прекратились. И весь свой невольный досуг я отдал безоглядному чтению. Все английские книги, какие были в публичной библиотеке нашего города, я прочитал с тем обожрством, с каким читают только подростки — и только в России. Теперь мне даже самому удивительно, как я мог в такое короткое время прочитать и Джона Китса, и Шелли, и Теннисона, и Вильяма Газлитта, и «Историю Англии» Томаса Маколея и его бессмертную книгу «Критических очерков», которая и по сей час остается одной из моих любимейших книг, и «Опыты» (Essays) де Квинси, и «Историю французской революции» Карлейля, и «Pippa Passes» Роберта Броунинга, которую я тогда же попытался перевести — очень неумелым, корявым стихом.

Словом, я создал себе фантастический мир и был единственным обитателем этого мира. Я был энтузиаст-одиночка. Вокруг меня не было ни одного человека, который хоть немного интересовался бы тем, что в то время волновало меня. Для меня в то время доктор Семюзль Джонсон, изображенный в четырехтомной биографии Босуэлла, был гораздо реальнее, чем те люди, с которыми я сталкивался в повседневном быту. Тот сквер, где жила Амелия Сэдли в «Ярмарке тщеславия» Теккерея, был мне более знаком, более жизненно близок, чем улица, на которой я жил. Мать Николая Неклюби, Тутс из «Домби и сына», миссис Гэм из «Чеззльвита», мистер Уэллер из «Пиквика» — именно тогда сделались моими «вечными спутниками», с которыми я не расстанусь до конца моих дней. Удивительно, что Байрон, столь любимый в России, оставил меня совершенно холодным.

Его письма, собранные в книге Томаса Мура, гораздо полнее раскрыли передо мною его поэтический гений, чем все его хваленые поэмы. Только «Беппо» и «Дон Жуан» восхитили меня, да и то, главным образом, своей блестящей стихотворной техникой.

Года через два в моей жизни случилось большое событие: в гавани пристал ко мне какой-то пьяный матрос, настойчиво предлагая бутылку контрабандного рома. Я сказал ему, что не пью. Тогда он сунул мне в руку какую-то книжку и, подмигивая, сказал: — Запрещенная. — Книжка была «Leaves of Grass» Уолта Уитмена, и я отдал за нее два двугривенных, и не успел дойти до дома, как уже стал уитменианцем. Я потонул в этой книге, как гвоздь в океане. Ее колоссальная широта целиком поглотила меня. Все окружающее я стал воспринимать по Уолту Уитмену, и когда я читал «Song of Myself», мне казалось, что она — обо мне. И я понял, что цель моей жизни — проповедывать Уолта Уитмена. И так как мне было искренне жаль

тех друзей и знакомых, которые не могут читать его, я стал переводить его для них, чтобы поделиться с ними своим счастьем. Так возникла книжка моих переводов из Уитмена, которая вышла в Петербурге в 1907 году в издательстве «Кружок молодых». Переводы мои были очень наивны и плохи, впоследствии я всю жизнь исправлял и отделывал их. Года три назад вышло девятое издание этой книжки, а сейчас я подготовил десятое — с целым рядом статей о «добром седом поэте». Впоследствии я перечел о нем всю литературу, какую только мог достать: и Джона Эдингтона Саймондса, и Стедмана, и Гораса Тробела, и Ньютона Арвина, и написал о нем книгу, которая будет вскоре печататься.

Хотя основные мои работы посвящены русской литературе, — которую я страстно люблю, — главным образом Некрасову и его эпохе, я считаю себя крайне обязанным влиянию английской словесности. Когда я писал свои характеристики русских писателей, я чувствовал ту колоссальную помощь, которую оказал мне великий мастер исторических портретов Литтон Стрэчи и вся его школа. А перед тем как писать свои детские сказки, я впитал в себя и английские Nursery Rhymes, и «Алису» Льюиса Кэрролла, и Nonsense Books Эдварда Лира, и стихи А. А. Милна, — и хотя в большинстве случаев сказки мои вполне самобытны, хотя их основа — великорусский фольклор, все же едва ли у меня хватило бы смелости написать их, если бы не эта фаланга могучих английских новаторов.

В пору моей юности русская литература была плохо известна в англо-американских странах. Но теперь, когда Лев Толстой, Чехов, Горький, Маяковский, Алексей Толстой, М. Шолохов, К. Федин, М. Зощенко стали достойным широким масс Англии и Америки, наша литература занимает в обеих странах одно из самых почетных мест.

В 1918 году, тотчас же после Октябрьской революции, Максим Горький затеял грандиозное дело, к которому привлек и меня. Дело это — «Всемирная литература». Горький затеял издать для новой советской интеллигенции все лучшие книги, какие только существуют на земле, — греческие, итальянские, французские, японские, китайские, английские — в самых лучших переводах на русский язык. Программа этого издательства была так велика, что редакционная коллегия составляла ее около года. В редакционную коллегию входили ученые профессора, академики, литературоведы и пр. В эту коллегию был приглашен и я — ведать англо-американской словесностью. Здесь мне пришлось поработать три года. Горький был большим знатоком англо-американской литературы. Он научил меня любить Томаса Гарди, Джозефа Конрада, Киплинга, Честертона, Г. Лоренса, Джона Синга, Мэйфилда — у меня и сейчас хранятся его письма ко мне о Гоулесе, О. Генри, Голсуорси и Генри Джемсе.

По мысли Горького, «Всемирная литература» должна была служить идеалам брат-

ства, содружества, взаимопонимания народов. Она выражала собою глубочайшее уважение к древним и новым культурам всего человечества. Теперь, во время дьявольского разгула зоологических фашистских инстинктов, когда великодушный гуманизм свободлюбивых народов подвергается смертельной опасности, замысел

Горького приобретает особенную нравственную красоту. И мне сдается, что, наряду с русской литературой, этим общечеловеческим идеалам сближения и взаимопонимания больше всего послужила литература британская, давшая миру Чосера, Шекспира, Перси Биши Шелли и Чарльза Диккенса.

А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ

Чем я обязан Бичер-Стоу

В жизни нашей литературы немаловажное место принадлежит великому английскому народу, его литературе. Шекспир, Свифт, Ричардсон, Вальтер Скотт, Байрон, Теккерея, Диккенс — почти все наши поэты и писатели обращались к ним и черпали из них, как из неиссякаемой сокровищницы, вечные образы прекрасного. Шекспир!.. Еще несовершеннолетними виршами его переводили у нас поэты, начиная с петровской эпохи, его любил и вдохновлялся им наш великий Пушкин. Кто не знает у нас теперь Гамлета, Отелло, леди Макбет и других незабываемых образов этого гения? Наш великий Лермонтов, столетие со дня гибели которого мы только что отмечали, считал себя Байроном («не только с русской душой»). Мы увлекались фантастикой Уэллса и острой, бичующей сатирой Свифта и Бернарда Шоу. Лично я всегда любил английскую литературу: мне нравились монолитные образы Шекспира, широкие исторические полотна Вальтера Скотта и неукротимое бунтарство Байрона. Они толкали меня на путь протеста против царского самодержавия и закаляли в борьбе. И теперь в своей литературной работе я часто оглядываюсь на этих титанов литературы, черпая в них творческую бодрость. И буду черпать до конца жизни.

С американской литературой я познакомился поздно. Мне не пришлось читать ее в детстве, как читают теперь наши советские дети. Захватывающие романы Брет Гарта, веселые приключения Тома Сойера и Гека Финна Марка Твена попали мне в руки уже на кораблях царского флота, когда я служил матросом. Зато

сколько было радости, когда я читал их! Мне казалось, что забил чистый ключевой источник, из которого я, охваченный жаждой, пил и не мог напиться досыта. «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу вызвала во мне жгучую ненависть к угнетателям. Этот роман дал первый толчок моему революционному сознанию. Незабываемое впечатление оставили во мне огненные, бунтарские песни Уолта Уитмена и страшные фантастические новеллы Эдгара По. «Песнь о Гайавате» Лонгфелло была праздником в моей жизни, я перечитывал ее много раз и всегда по прочтении старался положить книжку на видное место, чтобы вернуться к ней опять.

Из современных писателей я люблю Теодора Драйзера и Эптона Синклера.

Драйзер нравится мне широтой картин нравов и быта американского общества, которые он дал в «Трилогии желаний» и в «Американской трагедии».

Романы Э. Синклера «Джунгли», «Король уголь», «Джимми Хиггинс» и «Автомобильный король» близки нашему читателю. Они расходились у нас массовыми тиражами, и вероятно будут издаваться еще не один раз. У нас хорошо знают Колдуэлла, Ричарда Райта, Джозефину Хербст, Хэмингуэя.

Теперь, когда народы Великобритании, США и Советского Союза объединились в общей борьбе против кровавого германского фашизма, когда Америка активно участвует в этой борьбе, нам, советским писателям, особенно радостно сознавать нашу давнюю дружбу с литературой этих стран, зовущей к гуманности и справедливости.

П. АНТОКОЛЬСКИЙ

Мои друзья за океаном

Я никогда не был в Америке. Мое знание великой заокеанской демократии и бледно и фантастично в одно и то же время. Оно питалось книжными и другими отраженными источниками. Только ми в связи с ними я могу говорить о своем отношении к великой стране и ее народу. Творчество величайшего из американских поэтов прошлого, Эдгара По, прочно и

навсегда вошло в сознание культурного человечества. Его творчество — это лес ослепительных прожекторов, скрестившихся в неизмеримых пространствах мировой ночи в поисках врага. Сейчас, в темные осенние ночи в Москве мы часто наблюдаем такую картину, и она кажется нам гигантской иллюстрацией к одному из страшных рассказов Эдгара По, если